



Их уже нет, тех богов, канули, сгнули в день странного прилива. Все утро под бледным небом вода в бухте взбухала, взбухала, забиралась на невозможную высоту и мелкие, плоские волны вползали на каленый песок, годами иначе как от дождя не знавший влаги, и снизу лизали дюны. Ржавый остов сухогруза, давным-давно, не на нашей памяти, выброшенный на мель в дальнем краю залива, мог возомнить, что снова спустили его на воду. Больше не буду плавать, никогда, после того дня. Морские птицы голосили, взвивались, ухали вниз, будто ополоумели из-за того, что огромная чаша воды под ними вздулась, как волдырь, и жутко отливала свинцом. Такие невыносимо белые они были, те птицы. Волны оставляли на берегу грязную, желтую пену. Ни единого паруса на высоком пустом горизонте. Больше не буду плавать, нет, никогда, никогда.

Опять у меня мурашки по коже. Опять.

Дом называется «Кедры», как раньше. Группка бурых деревьев, находясь, разя смолой, спутав, как в кошмаре, стволы, по-прежнему стоит слева и через неопрятный лужок смотрится в большое сводчатое окно, когда-то окно гостиной, которую теперь мисс Вавасур, хозяйка, предпочитает именовать салоном. Парадное — с другой стороны и открывается на грязный квадрат гравия под защитой высокой железной калитки, все еще крашенной зеленой краской, хоть ржавчина съела ее до зыбкой филиграни. Поражаюсь, как мало что тут изменилось за те пятьдесят с лишним лет, пока меня не было. Поражаюсь, досадую, чуть ли не ужасаюсь даже, почему, сам не знаю, — с чего бы ждать перемен, раз явился жить на обломках прошлого? Странно, и зачем это дом встал так, вполоборота, слепой штукатурной стеной к дороге; может, в прежние времена, до прокладки рельсов, дорога целилась в совершенно другую сторону, бежала под самым парадным, тоже не исключено. Мисс В. по части дат не сильна, но предполагает, что дом заложили в начале прошлого века, то есть позапрошлого, да? — я плутаю по тысячелетию, наобум набавляю годы. Но таким образом легко можно объяснить здешний беспорядок и путаницу, маленькие комнаты вперемежку с большими, окна, глядящиеся в

слепые стены, сплошь низкие потолки. Полы из красной сосны отдают морской ноткой, как и мой долгоспинный вертящийся стул. Что ж, вообразим старого морехода, наконец-то осевшего на берегу, — он дремлет у камелька, а зимняя буря гремит оконницами. Ох, быть бы на его месте. Побывать в его шкуре.

Когда я тут был, давным-давно, во времена тех богов, «Кедры» были такой летний дом и сдавались — на две недели, на месяц. Весь июнь ежегодно его заполняло шумное семейство богатого доктора — мы не любили горластых докторских деток, они над нами смеялись, швырялись камнями из-за нерушимого барьера калитки, а после них заявлялась таинственная пожилая чета, эти ни с кем не общались и в урочный час, каждое утро, в скорбном молчании выгуливали своего жирного пса по Станционной до берега. Август был в «Кедрах» самое интересное время, для нас по крайней мере. Жильцы каждый год разные, то англичане, то с континента, занесло как-то парочку молодоженов, мы пробовали за ними подглядывать, и один раз закатилась сюда даже труппа бродячих артистов, давала по вечерам представления в продувной деревенской киношке. А потом, в тот год, в доме поселились Грейсы.

Прежде всего я увидел автомобиль, припаркованный на гравии, внутри за калиткой. Побитый и поцарапанный, низкая посадка, бежевые кожаные сиденья и крупные спицы полированного руля. Книжки в мятых, линялых обложках валялись под лихо откинутым задним стеклом, и скучал среди них путеводитель по Франции, сильно потрепанный. Парадное стояло настежь, снизу неслись голоса, наверху кто-то топотал по доскам босыми ногами и хохотала девочка. Я застыл у калитки, откровенно подслушивая, и вдруг из дому выходит взрослый, с бокалом в руке. Невысокий, полноватый, крупные плечи, большая круглая голова, волнистые, стриженные, глянцевито-черные волосы с ранней проседью, черная борода клинышком с точно такой же проседью. Зеленая рубашка расстегнута, шорты цвета хаки, и он босиком. Загар такой крепкий, что отдает фиолетовым. Даже ноги, я заметил, темные на подъеме; тогда как, по моим наблюдениям, все отцы ниже линии воротничка обычно были рыбно-белесы. Ставит бокал — льдисто-голубой джин с кубиками льда и ломтем лимона — под рискованным углом на крышу автомобиля, открывает дверцу, шарит на приборном щитке. В доме, наверху, снова хохочет невидимая девочка, визжит в притворном ис-

пуге, снова топчут босые ноги. Там бегают наперегонки, она и еще кто-то, но тот молчит. Взрослый распрямляется, берет свой джин, хлопает дверцей. Того, что искал в машине, он не нашел. Он уже хочет вернуться в дом, но тут глаза его натываются на мой взгляд, и он мне подмигивает. Не так, как всегда подмигивают взрослые, — игриво, заискивающе. Нет, тут дружеский, заговорщический, прямо масонский знак — в том смысле, что минута, которая свела нас, мальчишку со взрослым, по видимости пустая, неважная, обладает, оказывается, тайным смыслом. У него поразительно светлые, прозрачно-голубые глаза. Но уже он возвращается в дом, с порога бросает: «Проклятая штуковина, кажется...» — и скрывается. Я еще постоял, засматривая в верхние окна. Никто не выглянул.

Такова была моя первая встреча с Грейсами: сверху девочкин голос, топот босых ног, а внизу мне подмигивают голубые глаза, весело, дружески, чуть жутковато.

Вот, опять себя ловлю: опять этот тоненький, нудный свист сквозь передние зубы — новая новость. Фью-фью-фью — как бормашина дантиста. Так отец свистел — ну и я туда же? В комнате через коридор полковник Бланден крутит радио. Обожает вечерние дискуссии:

гневные звонки сограждан, возмущенных сволочами политиками, ценами на спиртное, тому подобными вечными раздражителями. «Общение», — кратко объясняет полковник, откашливается, по-видимому, конфузится, прячет от меня выпученные, выцветшие глаза, хоть я от него не требую никаких объяснений. Или он слушает свое радио, валяясь в постели? Придется себе представить, как он лежит, в серых теплых носках, шевелит пальцами, галстук на сторону, воротник распахнут, руки запрокинуты и сзади сжаты на старой жилистой шее. Вне своей комнаты он сама вертикальность, весь подтянут — вверх, от подошв чиненых-перечиненых лоснистых ботинок к конической маковке черепа. Каждую субботу стрижется у деревенского парикмахера, все подчищается сзади и по бокам, наверху оставляется ястребиный седой хохолок. Торчат старые уши с длинными мочками, их как будто долго-долго сушили, коптили; белки глаз тоже отдают дымной желтизной. Слышу жужжание голосов, но смысла не разобрать. Нет, тут с ума сойдешь. Фью-фью-фью.

Или в тот же день, когда приехали Грейсы, только попозже, или на следующий, опять я увидел черный автомобиль, я сразу его опознал, ког-

да он подпрыгивал, одолевая горбатый мосток над рельсами. Он и теперь тут как тут, мосток, сразу за станцией. Да, жизнь уходит, остаются предметы. Автомобиль выезжал из деревни в сторону города. Назовем его Баллимор, от нас в двенадцати милях. Город Баллимор, деревня Баллилесс, может, смешновато, ну и пусть. Тот, с бородкой, который мне подмигнул, сидит за рулем, что-то говорит, хохочет, запрокидывает голову. Рядом женщина, локтем на опущенном стекле, тоже запрокидывает голову, светлые волосы треплет ветер, но она не хохочет, она улыбается только, той своей улыбкой, которую для него одного держала, скептической, снисходительной, томной. Белая блузка, темные очки в белой пластиковой оправе, сигарета в руке. Но сам-то я где, с какой точки подглядываю? Себя я не вижу. Секунда, и их уже нет, автомобиль, дрогнув задом, в струе выхлопного газа вильнул за поворот. Высокие травы в канаве, светлые, как волосы женщины, кратко дрогнув, снова задумчиво застывают.

Я шел по Станционной в солнечной пустоте вечернего часа. Берег у подножия холма рыже мерцал под полосую индиго. Всё на море — узкие горизонталы, мир сведен к нескольким долгим прямым, зажатым между землею и небом. Я приближался к «Кедрам» с опаской. И почему



это в детстве все новое, привлекавшее мой интерес, отдавало жутью, тогда как, согласно авторитетам, жутко не то, что ново, а то, что знакомо, но возвращается в новой форме, в качестве призрака? Да, много есть неразрешимых вопросов и понасущнее этого. Подходя, я слышал ржавый упорный скрип. Мальчишка, мне ровесник, повис на зеленой калитке и, вяло уронив руки, отталкиваясь ногой, медленно раскачивался над гравием. Те же светлые волосы, что у женщины в автомобиле, безошибочно те же, что у мужчины, голубые глаза. Я просто шел себе мимо, ну, положим, даже задержался, запнулся, а он ткнул гравий носком кеда, пресек вращение калитки и смерил меня взглядом — враждебным и вопросительным. Так все мы, дети, друг на друга смотрели при первой встрече. За его спиной мне открылся весь узенький сад, тыл дома, диагональная просадь вязов у полотна — уже их нет, тех вязов, повырублены, заменены строем пастельных дачек, кукольных домиков, и даль, где были тогда поля, и коровы, и рыжие вспышки утесника, и одиноко тянулся шпиль, и небо катило белые облака. Вдруг, поразительно, мальчишка скорчил жуткую рожу: скосил глаза, высунул язык чуть не до подбородка. Я двинулся дальше, всей спиной чувствуя его насмешливый взгляд.